

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S160578800019453-4

## Перевоспитание Нарцисса в “Обыкновенной истории” И. А. Гончарова

© 2022 г. Д. З. Йожа

PhD (доктор философии по русской литературе),  
независимый исследователь, Венгрия,  
Hu-1114, Budapest, XI. ker., Hamzsabégyi u. 33. sz. II/8. a.  
jozsagyz@gmail.com

**Резюме.** В статье сопоставляются психологический склад Адуева-младшего в романе “Обыкновенная история” и литературный тип “лишнего человека”. Психологическая сторона данного типа сочетается с сюжетными элементами мифологемы о Нарциссе. Нарциссизм и эгоцентричность маркируют воспитание персонажа Гончарова. Дуализм и зеркальность определяют структуру романа. Подход к осознанию нарциссического характера фигуры обуславливает интенцию автора.

**Благодарность:** Настоящее исследование было осуществлено при поддержке гранта Венгерской Академии Искусств (Magyar Művészeti Akadémia) в проекте MMA 1785-8/2020. За поддержку автор приносит свою искреннюю благодарность.

**Ключевые слова:** герой русского романа, “лишний человек”, нарциссизм, Овидий, зеркало в литературе.

**Для цитирования:** Йожа Д.З. Перевоспитание Нарцисса в “Обыкновенной истории” И.А. Гончарова // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2022. Т. 81. № 2. С. 5–21. DOI: 10.31857/S160578800019453-4

## Reeducating Narcissus in “An Ordinary Story” by I. A. Goncharov

© 2022 György Zoltán Józsa

PhD in Russian Literature  
independent scientist, Hungary,  
Hu-1114, Budapest, XI. ker., Hamzsabégyi u. 33. sz. II/8. a.  
jozsagyz@gmail.com

**Abstract.** The article juxtaposes psychological constitutions of Adujev Jr. from the novel “An Ordinary Story” and the character of the literary type “superfluous man”. The psychological aspect of the given type is combined with motifs from the mythologeme’s sujet about Narcissus. Narcissism and egocentricity mark the upbringing of the figure in Goncharov’s novel. Dualism and mirror likeness determine the structure of the novel. An approach to the recognition of the Narcissistic feature of the figure’s character preconditions the author’s intention.

**Acknowledgements:** The presented research has been realised owing to the support of the grant of the Hungarian Academy of Arts (Magyar Művészeti Akadémia) in the framework of the project MMA 1785-8/2020. The author expresses his gratitude for the support.

**Key words:** Russian novel hero, superfluous man, Narcissism, Ovidius, mirror in literature.

**For citation:** Józsa, Gy.Z. *Perevospitaniye Nartsissa v romane I.A. Goncharova “Obyknovennaya istoriya”* [Reeducating Narcissus in “An Ordinary Story” by I.A. Goncharov]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seria literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2022, Vol. 81, No. 2, pp. 5–21. (In Russ.) DOI: 10.31857/S160578800019453-4

Романная трилогия И.А. Гончарова “Обыкновенная история” – “Обломов” – “Обрыв” составляет органическое целое, как это в качестве аксиомы зафиксировано в формулировке концепции монографии А. Молнар [1, с. 7–9], об этом и сам Гончаров высказывается в статье “Лучше поздно, чем никогда”, заявляя, что он видит перед собой “не три романа, а один” [2, т. 8, с. 107]. Автор первого в русской литературе “чистого” по структуре романа потом в “Обрыве” доходит до проблемы “самосознания формирующегося жанра”, саморефлексии, проблема совместимости “психологического” и “очерко-нравописательного” уровней “выносятся на страницы произведения” [3, с. 318–319]; [4, с. 521].

Герои этих произведений как наиболее доминантные текстообразующие элементы романного жанра проходят некую эволюцию, и они практически тождественны, как утверждается в гончароведении. Одной из точек соприкосновения их характеров является “романтизм” [5, с. 37]. Имеет свой вес и тот слишком закрепившийся за первым романом Гончарова стереотип, та “антиромантическая трактовка” [6, с. 246], согласно которым интенция автора заключалась в отречении от системы ценностей отжившего романтизма. Еще А.В. Дружинин, классифицируя поэтику Гончарова как реалистическую, признавал, что этот реализм “согрет глубокой поэзией” [7, с. 447]. Переосмысление этого ортодоксального подхода может оказаться плодотворным. Такой сдвиг ощутим в выявлении “типологической близости” романов Тургенева и Гончарова, обнаруживаемой в сходной акцентировке некоторых аспектов “типа русской женщины, духовно и нравственно возвышавшейся над своей сферой”, как и «типа “лишнего человека»» [8, с. 191]. В критике В.Г. Белинского, направленной против типа “романтических ленивцев и вечно бездеятельных или глуподеятельных мечтателей”, для “непонятных и неразделенных” отношений которых характерно желание “встречи или с жестокой девою, или с изменницей”, типы “романтика” и “лишнего человека” еще неразделимы; “лишние” люди представляются как “недавно” появившиеся “герои своего времени”: будучи “высокими натурами, презирающими толпу”, недовольными “судьбою”, они “горды своим призванием” страдать, среди них “бывают люди умные, даже очень” [9, т. 9, с. 378–381]. А.Г. Цейтлин в монографии 1950 г. образ Александра Адуева (Адуева-младшего, героя “Обыкновенной истории”) трактует вне рамок категории “лишнего человека” [10, с. 62]. Такое решение вопроса, вероятно, восходит к классификации 1930-х годов.

Так, А. Лаврецкий, нарушая хронологический порядок в трактовке “лишнего человека” резким переходом от Печорина к Рудину, предлагает гипотезу о “систематическом снижении” образа, истолковывает данный феномен как процесс: дескать, в произведениях Писемского и Гончарова “лишний человек” предстает уже как противоположность “носителям прогресса” (таким как Петр Адуев, т.е. Адуев-старший, и Штольц); к кругу “лишних людей” причисляются Обломов и Райский, но не Адуев-младший, которого “спас рассудительный дядюшка” (см.: [11, с. 530–534]). Невольное замечание А. Лаврецкого о возрасте Александра Адуева (согласно этой теории, он “остался бы” “в вечных недорослях” без наставничества дяди) наводит на мысли об импlications кризисного возраста по воззрениям психоанализа и о предыстории данной фигуры в русской литературе (в частности – о комедии Д.И. Фонвизина).

Самые авторитетные в свое время теоретики предмета “лишних людей”, как правило, обходят молчанием героев Гончарова. Так, Иванов-Разумник в детальном разборе “Обломова” в своей “Истории русской общественной мысли” не относит Обломова к типу “лишнего человека”, а Адуев-младший, герой “Обыкновенной истории”, у него предстает перевоплощением Ленского, чтобы потом сменить свою позицию, приблизиться к типу Онегина и Печорина [13, с. 108], т.е. его характер несомненно интегрирует и их “лишность”, но к типу “лишнего человека” не относится. Н.Г. Федосеенко вслед за Г.А. Бялым также считает едва ли возможным соотнести персонажей Гончарова с этим типом [12, с. 207]. В науке отмечается родство Адуева-младшего с «поколением “лишних людей” 40-х годов», но якобы “Гончаров не пошел по этому пути”, и “родословную” его героя надо вести «...не от Онегина и Печорина, а именно от Ленского. Младший Адуев не принадлежит к поколению “лишних людей” <...>, в нем нет черт, характерных для типа “лишнего человека”, – стремления к общественной деятельности, политического и философского радикализма <...> к тому же в жизни Адуева-племянника были минуты, когда он становился лицом трагическим. В эти минуты Адуев напоминал “лишних людей” 40-х годов, например Бельтова» [4, с. 516–517]. Напомним: романы Герцена и Гончарова вышли в свет в тот же год.

Дискуссия о натуре героя Гончарова изобилует полуправдами, массой аргументов и контраргументов. Отвергая теорию Н.К. Пиксанова, согласно которой «Гончаров одним из первых включился в круг писателей, изображавших “лишних

людей»», А.Г. Цейтлин вдруг переходит на язык политической риторики, внушая, что “лишний человек” есть тип, располагающий исключительно общественными аспектами: «Адуева-младшего никак нельзя назвать “лишним человеком” в обычном смысле этого слова. Его не характеризует ни политический либерализм, ни тяга к живому делу, которым ему мешает заняться феодально-крепостнический строй» [10, с. 73; курсив мой. — Д.З.Й]. Очевидно, что такая фигура лишена психологии<sup>1</sup>. Далее уточняется, чем герой Гончарова отличается от настоящих “лишних людей”: “Натура Александра Адуева неизмеримо мельче и ординарнее натуры Онегина или Бельтова, не говоря о Печорине”; мотив “карьеры и фортуны”, ожидающих его в финале, исключает такую типологию [10, с. 73]. Однако в современной обзорной статье о типе “лишнего человека”, где расширяются традиционные рамки его истории и трактовки, Адуев-младший без всяких оговорок классифицируется как воплощение данного литературного типа (см.: [14, с. 195]; здесь, увы, не принимаются во внимание результаты монографий [15] и [16], в которых галерея этих литературных героев продолжается вплоть до героев А.Д. Синявского).

А.Г. Цейтлин, говоря о последовавшей за появлением “Обыкновенной истории” полемике и очерчивая изменяющуюся позицию Ап. Григорьева, приводит его формулировку, освещающую метод Гончарова — *психологизм*, господствующий в оформлении романа: “Голый скелет психологической задачи слишком выдается из-за подробностей” [10, с. 90]. Гончаров же в изложении собственных эстетических идеалов оценивает “психологическую сторону” образов как мерило художественной глубины [2, т. 8, с. 107]. Александр Адуев к концу романа действительно приобретает несколько психологических черт, традиционно приписываемых “лишнему человеку”, а именно анемию и критическую недоверчивость, потерю доверия. Порвав с “иллюзорными мечтами”, он станет “мрачным скептиком”, разочарованным “в жизни, в любви и дружбе, в труде и творчестве” [4, с. 516]. Бессилие — сущностная

<sup>1</sup> Если обратиться к терминологии марксистской истории литературы, то в такой трактовке действующих лиц романа капитализм, олицетворяемый не кем иным, как дядей Адуевым и его ценностной системой и антимиром столицы, который он представляет, таким же образом отталкивает племянника, как и захудалая, провинциальная патриархальная жизнь. Для такого противоречия, однако, Александр Адуев слишком умен и образован, в его “перерождении” эти два локуса скорее всего выполняют роль катализатора, способа изучения антиномий мира и их преодоления.

сторона психики Александра Адуева: вкупе с “гипертрофией чувствительности” А.Г. Цейтлиным подмечается в нем “анемия воли”, приводящая “человека к неспособности действовать” [10, с. 72], из чего вытекает его бездействие, пассивность — типичные приметы “лишнего человека”. Меланхолия слегка обвивает фигуру Александра уже в сцене длительного прощания в экспозиции романа: хотя благодаря сухому тону наррации сцена воспринимается как увековечение общезнакового события жизни — расставания с детством и родным домом, здесь постепенно раскрывается склонность Александра к сплину. У читателя создается впечатление, что на фоне патриархального изобилия усадьбы данная сцена предвосхищает грусть и потерю. Указывая на склонность Александра к сомнениям, которая есть примета нарциссической личности, А.Г. Цейтлин именно к этому качеству возводит его *хандру* [10, с. 69], отличительную черту “лишнего человека”. Под влиянием Шиллера, Гёте и Байрона Адуев-младший, вариант *homo legens*, делает мысль о мрачности существования премиссой философии жизни. Д. Чавдарова точно замечает, что трагизм персонажа коренится в его несамостоятельности, идолзации им литературных героев, с которыми он готов идентифицироваться, при этом важна и проблема языка: «отказывавшись от “чужого” слова, персонаж так и не находит “своего” слова» [17, с. 55–56]. Герой перепутывает жизнь с литературой. Несомненно, Александр действует и говорит в качестве *живого зеркала* собственных чтений. Им со временем овладевает чувство хаоса (“Не видя исхода из омута сомнений, Александр начинает хандрить” [10, с. 69]) и байроническое настроение: “Прошлое погибло, будущее уничтожено, счастья нет: все химера — а живи!” [2, т. 1, с. 253].

С оглядкой на историю полемики о принадлежности Александра Адуева к категории “лишних людей” Е.А. Краснощекова выражается осторожно и не вполне однозначно: “...в определенной точке внутреннего развития герой Гончарова пересекается с “лишним человеком”» [18, с. 158].

Насчет разных воплощений фигуры “лишнего человека” в произведениях современников размышлял и сам Гончаров, о чем писал А. Бурмейстер: «В критическом этюде, как раз под названием “Миллион терзаний”, Гончаров противопоставляет Чацкого франтам тех времен: герой Грибоедова “как личность несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те — паразиты, изумительно начертанные великими талантами,

как болезненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век — и в этом все его значение и весь ум» [19, с. 15]. Наличие здесь оппозиционной пары “полезная (для общества) деятельность *versus* паразитизм” и эпитета “болезненный” наводит на мысль о том, что за этим рассуждением Гончарова скрывается характеристика “лишнего человека”, но писатель думает, что успешность героев в любви имеет огромную важность: “Ни Онегин, ни Печорин не поступили бы так неумно вообще, в деле любви и сватовства особенно. Но зато они уже побледнели и обратились для него в каменные статуи, а Чацкий остается всегда в живых за эту свою глупость” [19, с. 16]. Отрывок из письма Гончарова к П.Г. Ганзену (1885 г.) освещает его сознательный подход к типу “лишнего человека”, здесь он прямо пользуется этим термином, вопреки отрицанию принадлежности Обломова к данному типу литературных героев (см.: [2, т. 8, с. 476]). Последнее объясняется распространением термина, который, вошедши в публицистический контекст, наделялся семантикой презренного, деградированного. Не исключено, что именно поэтому Гончаров старается избегать отождествления Обломова с данным типом. Е.А. Краснощекова, сопоставляя Адуева-младшего с Бельтовым, героем романа «Кто виноват?», все-таки утверждает, что в образе Александра Адуева “улавливается тот самый комплекс одиночества и тоски, что присущи герценовскому титану” [20, с. 142].

Как заметил еще Ап. Григорьев, Гончаров с максимальной скрупулезностью конструирует свой текст и фигуры героев, вступая в диалог с произведениями Пушкина и Лермонтова (см.: [10, с. 80]; [5, с. 55–70]), а в то же время он многим обязан автору “Мертвых душ” [10, с. 80]. И комедия Фонвизина “Недоросль” несомненно подавала импульсы для изображения провинциальной среды, места воспитания юного Адуева, некоторые мотивы преувеличенной материнской заботы вновь наводят на мысль о некоем *родстве* с судьбой героя Фонвизина, но все же Александр — “не вариант Митрофанушки”<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Ради достоверности реконструкции генеалогии данного героя необходимо считаться с комплексом межтекстовых связей, которые тщательно исследовал В.Н. Глухов: они порождены “Письмами дяди к племяннику”, напечатанными в новиковском “Трутне”, в ответ на которые написана сатирическая миниатюра Фонвизина “Наставление дяди своему племяннику”, а в подражание манере последнего А.Н. Майков сочинил “Завещание дяди племяннику”, через которое непосредственно устанавливается “связь” романа Гончарова с произведениями Фонвизина [21, с. 48–49].

Кроме того, “Обыкновенная история” содержит намеки на поэму “Медный всадник” Пушкина, благодаря чему роман входит в корпус петербургского текста: атрофия наивного романтического *я* юноши, блуждание в незнакомом пространстве, отчуждение и уединенность отчасти приписываются призрачной атмосфере страшного города, а в связи с данным мотивом напрашивается параллелизм между Адуевым-младшим и Евгением.

Фонвизинский Митрофанушка и пушкинский Онегин обладают полным набором черт, присущих нарциссической личности. Они в равной степени характерны для юного Адуева. Гончаров, говоря о системе персонажей своего первого романа, непосредственно обращается к “Онегиным”, “то есть франтам”, но симультанно воспроизводит составляющие характеристики, отсылающей к типу “лишнего человека”: они “...тосковали в бездействии, не имея определенных целей и дела” [2, т. 8, с. 109–110] (к концепту безделья Гончаров возвращается и ниже: [2, т. 8, с. 120]), а также высказываясь насчет той ауры, которая стала ощутимой благодаря творениям триады Пушкин–Гоголь–Лермонтов: от них “теперь еще пока никуда не уйдешь” [2, т. 8, с. 111]).

Белинский палитру качеств героев типа Адуева-младшего описал следующими словами: “эта порода людей” отличается мечтательностью, уединенностью, “сердце их” “скоро скудеет любовью”, их манит и гражданская, и военная слава, но по зависти других дорога перед ними закрыта, “хватаются они иногда за науку, но не надолго”, “остается поэзия” [9, т. 10, с. 332, 333, 334]. Практически перед нами обороты пути герценовского Бельтова, рассуждение Белинского отнюдь не случайно венчает упоминание “эгоизма” и “самолюбия” [9, т. 10, с. 338]. В другой статье те же качества он приписывает типу “романтического мечтателя”: “главную роль играет самолюбие” [9, с. 381]. Эти качества в основном и составляют психический склад “лишнего человека”.

Поскольку модусы формирования различных героев, их “генеалогия”, векторы характера и “недуги” подталкивали современную критику к их концептуализации, здесь, на наш взгляд, уместно учесть теорию С.Г. Бочарова о “генетической памяти литературы”, демонстрировавшей явления “необъяснимых совпадений” и в форме, и в содержании артефактов (см.: [22, с. 7–12]). Текстобразующим принципом в повествовательном роде одинаково выступает и сам герой, его личность, и составные элементы его интеллектуального и духовного портрета, его душевный склад, как показал М.М. Бахтин (см. [23]).

Сложнее решить вопрос, сколько героев на самом деле имеется в “Обыкновенной истории”. Л.М. Лотман, касаясь явления, канонизированного в психологии как проекция “я-концепции”, считает, что Гончаров в некоторой степени проецирует себя на героев произведения, а к разным проявлениям личности исследовательница тенденциозно применяет термин “голоса”: “Александру романист отдал патетику и лирический пафос, Петра Ивановича Адуева наделил иронией, а так как *каждый из героев какой-то стороной своей души близок автору*, в сочетании голосов двух центральных персонажей романа воплотилось характерное для стиля самого писателя совмещение лиризма и юмора” [24, с. 169; курсив мой. — Д.З.Й]. Эти суждения подтверждают, что два героя являются проекциями одной и той же личности. Судя по аккуратной симметричности, сказывающейся и в структуре характеристик центральных персонажей (пародийно сконструированных по образцу классического конфликта протагониста и антагониста), их атрибутов и биографий, архитектоники, слово “комплементарность”, думается, более адекватно для описания их отношений друг к другу. Данный феномен возникает в результате принципа “зеркальности”. Дихотомичность детерминируется и коренным дуализмом, присущим русской культуре. Сходные тенденции отмечались и в мировидении романтизма, в его представлениях о “двоемирии” и “двойничестве”. Последнее четко различимо в разительной смене ролей “двух” персонажей — дяди и племянника<sup>3</sup>. Дихотомичность проявляется на всех уровнях романа. Это заставило Ю. Айхенвальда указать на “борение двух моментов, центростремительного и центробежного”, которое он сопоставлял с конструкционным принципом действующих лиц, подвергаемых критике из-за безжизненности и схематичности [25, с. 209]. “Контрапункт”, унаследованный от романтизма, является приемом, способствующим выработке “диалогического конфликта” между дядей и племянником, состоящего в столкновении «двух взаимоисключающих жизненных “кредо”» [6, с. 248–249]. “Скептицизм”, овладевающий читателем при восприятии идиллии усадьбы на начальных страницах, потом вновь проявляется перед Александром в фигуре Петра Ивановича. Господствующий

<sup>3</sup> Как пишет Е.А. Краснощекова, «...в эпилоге Александр выглядит во многом двойником Петра, процесс воспитания приводит к “обесцвечиванию” младшего Адуева» [18, с. 169]. В силу саркастического тона текста романа не исключено, что мы имеем дело с пародией на жанр романа воспитания ввиду явных намеков на негативные, порою даже трагические последствия дурного воспитания.

в произведении скептицизм (см.: [4, с. 635]) служит конструирующим принципом, двигателем той “симметричности”, которая выстраивается на базе противопоставляемых полюсов, что результирует некое выравнивание “драматической” истории и “комедийного”, фарсообразного элемента в концовке. Сходным по семантике принципом в поэтике романа предстает и мотив стремления к равновесию, гармонии сфер “ума” и “сердца”, широко известный по воззрениям и мировосприятию Просвещения и романтизма. Эти концепты в прозе Гончарова предназначены “строить отношения с действительностью”. Раз мы затронули вопрос о “комплементарности” двух миров, то присутствие этого принципа оказывается в гармонии с концепцией “целостности” человека, идеалом романтизма, вот чем объясняется мотив проснувшегося ума в финале романа [26, с. 36–37]. Форма, генерируемая на базе антагонизма двух миров, на уровне композиции соответствует хиазму [27, с. 26–28]. Это противостояние интерпретируется как развертывание глубинного антагонизма между категориями прозы и поэзии, разветвляющегося из конфликта “обыкновенного” и “необыкновенного” [28, с. 9].

По форме “Обыкновенная история” вписывается в линию развития русского психологического романа (см.: [27, с. 9, 19]). Сами жанры романа воспитания и романа развития, столь акцентированные Е.А. Краснощековой, имплицитно внушают свершение акта *метаморфозы*, процесса превращения. Этот процесс предполагает участие трансцендентного, так как слово *метаморфоза* само по себе, согласно закону функционирования “генетической памяти литературы”, моментально вызывает ассоциацию с магико-мифическими рассказами Овидия. Даже А.Г. Цейтлин называет определенную фазу развития Адуева-младшего “метаморфозой” (практически в этот момент установленная между дядей и племянником практика словно магически выворачивается наизнанку, получением денег по настоянию Петра Иваныча вмиг нарушается принцип, на который они раньше согласились, и словно магическим образом «герои романа как бы меняются здесь местами; каждый совершает “необыкновенный” поступок» [10, с. 85]). Относительно ожидаемой кульминации романа Белинский обращается к слову незаурядной семантики: “перерождение” [9, т. 10, с. 342]. Произшедшее с Александром даже современный нам литературовед многозначно окрестил “метаморфозой” [29, с. 35].

Вопрос о превращении затрагивается в работе А.Г. Цейтлина, трактующей сразу несколько

символических аспектов образов и семантическую структуру сюжета. Во-первых, бросается в глаза специальное выражение “двойник” для описания Александра Адуева в отношении к дяде, потом племянник попадает в роль соперника, но не только его, а также самого писателя, ведь юноша отдает себя сочинительству, чтобы компенсировать неудачи в любви. То есть в его стремлении наблюдается образец, сходный с сущностью античных метаморфоз, наисущественнейший элемент которых – сдвиг к трансцендентному. В результате Александр становится зеркальным отражением автора, Гончарова, тем самым создается эффект мизанабим. Этот прием, потом удваиваясь, разыгрывается в раскрытии сущности замысла прозы Александра: “сочиняет повести в характерном для романтика духе, героем которых являлся он сам”. (На этой точке в ракурсе теоретического подхода напрашивается термин нарциссического нарратива. Это оправдывается и фактом соотнесенности тем любви и творчества, постоянного возвращения к мотиву компенсации, сублимирования либидинальных энергий.) На взгляд А.Г. Цейтлина, для Адуева-младшего «смысл творчества был ограничен его собственным “я”». Иными словами, он оказался неспособен к преодолению эгоцентричного габитуса. Главный конфликт таится в замкнутости в себе, мешающей ему понимать свое окружение. Непонимание и нелюбовь ходят рука об руку: “Творчество было у него всего лишь результатом неудовлетворенной любви” [10, с. 68–89]. Тексты, творимые Александром, ввиду их мимолетности (дядя критикует и беспощадно уничтожает их) до поры до времени служат отражением фаз “воспитания” героя, которые отмечают его шаги на пути к самопониманию и самопознанию. Мысль об акте самосозерцания в творимом Александром тексте перекликается с тонким замечанием Е. Ляцкого, выделившего “самонаблюдение” в идейном плане романа [30, с. 174].

Книга как факт культуры наделена двойственной семантикой: с точки зрения и “романтика”, и его дяди, она способствует лучшему пониманию жизни и в то же время оказывается препятствием к этому. Книжный характер мысли протагониста предстает как источник всех бед. Александр узнает “прекрасное только в книге” [10, с. 62, 66]. Такая позиция восходит к духу суждений Белинского. Пересечение границ действительности и сферы книг сказывается и в отношении автора к собственному роману: Гончаров с досадой констатировал, что “вымышленность героев” критики часто ставили ему в упрек [2, т. 8, с. 100]. В центре – раскрытие закономерностей личности

и психики человека, в своих персонажах он старается тщательно изучать всевозможные аспекты того или иного типа. Психологизм выпукло сказывается в оформлении диалогов дяди и племянника, где порою создается впечатление, что дяде отведена роль психоаналитика, беспощадно указывающего на дискрепанции между действительностью и представлениями клиента. В то же время именно в этих диалогах как бы звучит нота оптимизма, упоения мыслью о непомерных ресурсах личности. Рефлектируя на психологический подход, Д.С. Мережковский хвалебно отзывается об “идеальном обобщении человеческой природы”, встречаемом “в каждом из характеров, созданных Гончаровым” [31, с. 316]. Расцвет культа индивида с начала XIX века и законы становления личности попадают в самый центр внимания автора романа воспитания. Психологизирование было отчасти стимулировано мыслью Белинского об архетипах. “Автономные элементы” (“бессознательного”), согласно учению Юнга об архетипах, манифестируются во всем мире, независимо от местожительства или прямого контакта людей между собой. Коллективное бессознательное состоит из мотивов и образов, которые Юнг назвал архетипами. Недаром Белинский призывал современных авторов опираться на свои “инстинкты”. Н. Баратофф предупреждает о неадекватности этого выражения, доказывая, что, вопреки неточности понятий “внутренний голос” или “инстинкт”, они никак не совпадают с выработанным психоанализом и аналитической психологией набором терминов, а Белинский бессознательно нащупал сферу архетипов [32, с. 192–193]. В том же духе и Мережковский проводит параллель между миром Гончарова и античностью [31, с. 313–314] – эпохой, когда человек находился в состоянии “архаического сознания”, т.е. перманентно размышлял через представления, закодированные в образах и фигурах, витающих в античных мифах. В. Кантор, разбирая идейные аспекты эпохи 1830–1840-х годов, времени формирования поэтики Гончарова, отмечает значимость “романтически осмысленной литературы античности и Возрождения”, просто ссылаясь на список авторов, составленный в свое время Гончаровым: “Гомер, Вергилий, Тацит, Данте, Сервантес, Шекспир” (классики, прославляющиеся “вечными схемами”), и приводит сообщение Гончарова, согласно которому сам он “много переводил из Шиллера, Гёте (прозаические произведения), также из Винкельмана...” [33, с. 233], т.е. “отца искусствознания”, известное толкованиями духа античности.

Древность как неотъемлемая часть современности, унаследованная европейской мыслью, — в фокусе внимания Гончарова. В мышлении трезвого, строгого Петра Адуева мифическая или библейская история вовсе не воспринимается в качестве фиктивной выдумки или старомодных сказок, они обладают поучительным характером и содержат вечные схемы: Священное Писание читается как книга, закрепляющая вечные истины, которые точно определяют развитие индивидуальных судеб на земле: “Мудрено! с Адама и Евы одна и та же история, с маленькими вариантами. Узнай характер действующих лиц, узнаешь и варианты. Это удивляет тебя, а еще писатель!” [2, т. 1, с. 101]. Подобная схема вычерчивается в инсценировке рыбалки, происходящей на побережье и воспроизводящей, в частности, элементы метаморфозы Нарцисса: “Адуев посмотрел на воду и опять отвернулся” [2, т. 1, с. 258]. Искушение для героя появляется в образах огромной щуки (добычи, улова) на поверхности воды и девушки вне поля зрения, сзади, гуляющей в компании отца. Будучи в плане семантики зеркальными образами друг друга (“желаемые для достижения цели”), они представляют собой разные стремления мужчины, которые глазами не видны. В состоянии раздражения (в экстазе, вне себя) из-за того, что ему помешали, Александр — по логике дяди — с максимальной спонтанностью вспоминает соответствующую сцену из древнегреческой мифологии, сравнивая пару с мифическими фигурами: “вот какой-то Эдип с Антигоной” [2, т. 1, с. 260]. Тенденциозная “актуализация мифологических и сказочных интертекстов” порождает особенный тип “мифологического реализма”, поэтому “мифопоэтика” Гончарова заслуживает особого внимания [27, с. 13].

Сущность закономерностей Гончарова, контрапункт его прозаического мира, полного желания достичь равновесия, в эссе Мережковского передаются словами “дикое” и “грандиозное” — формулой самого автора “Обломова” [31, с. 313–314]. Специальный субстантивированный тип прилагательного выражает нечто стихийное. В данном контексте первостепенно важно, что потом само слово *грандиозное*, введенное Х. Кохутом в тезаурус психологии и психопатологии нарциссизма в виде словосочетания “грандиозная самость”, обозначает фундаментальный конструкт ребенка в фазе “естественного нарциссизма” для защиты себя и употребляется для описания как нормальных, так и аномальных явлений нарциссизма [34].

Изображение любви и философия любви в соответствии с требованиями жанра романа воспитания проходит модификации. Ввиду этого, в связи с “яркой галереей” женских фигур у Гёте, аксиоматизируется принцип: “каждая встреча с женщиной вносит вклад в воспитание чувств Вильгельма”, “ведет героя по лестнице возмужания” [18, с. 131]. Гончаровский Нарцисс, Александр Адуев, не оставлен без внимания прекрасного пола, зато в его встречах с дамами идет речь не только о чувствах: возмужание охватывает и процесс познания и самопознания; диалоги с дядей и опыт с женщиной дополняют друг друга в воспитании героя. Счастливой любви Гончаров своего героя лишает. Быстротекущие приключения нарциссического юноши, если даже они окружены ореолом истинной любви, внушают мысль о его неспособности любить. Его путь скорее всего устремлен к самосознанию и познанию мира<sup>4</sup>. Если неудача в любви, несбывшиеся мечты о славе (признак одержимости “грандиозной самостью”), беспочвенные амбиции на поприще литературы, неосновательные претензии составляют путь Александра к осознанию жалких реальных альтернатив, то мы имеем право задать вопрос о его нарциссизме. Мысль о призвании, одержимости грандиозной идеей отражается в самоуподоблении Адуева-младшего Богу, и его амбициозная интенция выделена в тексте романа курсивом: “творить особый мир” [2, т. 1, с. 128] (справедливости ради надо напомнить, что при этом он пересказывает концепт романтизма, согласно которому художник-творец повторяет акт сотворения мира).

Даже ономастика в “Обыкновенной истории” говорит о мании величия: наподобие Герцена, страдавшего “комплексом Александра Македонского”, Гончаров окрестил своего героя именем “Александр” [28, с. 30]. Один фрагмент свидетельствует о том, что уединенность, изоляция, отсутствие реального диалога как типичные симптомы нарциссизма идолизируются в поэтике Александра, которая оборачивается едва замаскированным психологическим автопортретом: жажда славы, величия, переоценка собственных способностей воплощаются в акте творения артефакта, который мыслится как индивидуализированный, автономный личный портрет в следующем саморефлексирующем пассаже: «Беседовать с своим я, было для него отрадою. “Наедине с собою только, — писал он в какой-то повести, — человек

<sup>4</sup> Выбор Александра между “романтизмом” и “положительным” миропониманием рассматривается как путь самопознания [10, с. 70].

видит себя как в зеркале, тогда только научается он верить в человеческое величие и достоинство”» [2, т. 1, с. 128]. Процесс и продукт есть непосредственные корреляты друг друга. В ответ на критическое замечание редактора — “Таких людей не бывает” — Александр сам признается в чисто автобиографическом характере своего письма, выдает модель нарциссического типа творчества: “да ведь герой-то я сам” [2, т. 1, с. 130–131]. Этот “герой” — зеркальное отображение слабого, начинающего писателя, донельзя отождествляющего себя с собственным героем, — нарушает принцип дистанцирования между автором и героем, сформулированный М.М. Бахтиным.

В фокусе античного мифа о Нарциссе — самопознание индивида. Если в рамках романа воспитания путь юного Адуева трактуется как интеллектуальное совершенствование, то небесполезно привести свежие результаты исследований в области психоанализа о значимости нарциссизма в развитии интеллекта. Ссылаясь на выводы Л. Гаст, Б. Грубнер приписывает уникальную значимость именно первичному нарциссизму как движущей силе для становления индивидуальной личности [35, с. 58], практически развивая открытия М. Якоби о нарциссизме как о предпосылке индивидуации [36]. Нарциссизм переклассифицируется в понятие психологии развития. В гончароведении уже конкретизирован нарциссический характер Адуева-младшего — в связи с историей его любовных отношений с Наденькой: «самосозерцание, которое лежит в основе “немного обожания”, логично оборачивается нарциссизмом», “подлинное сострадание к любимому существу отсутствует” [18, с. 148].

Итак, в образе Александра Адуева приметы “лишнего человека” и Нарцисса переплетаются, как и в случаях Онегина, Печорина и Бельтова. Нарциссизм здесь требует четкого дифференцирования. Наблюдение Е.А. Краснощековой открывает путь к “эксплорации”, определению психики героя и интенции автора. Достоверность выводов подтверждается и включением элемента самосозерцания, столь акцентированного и в античной мифологии, и в описаниях психологов. Вдобавок эксплицируется взаимосвязанность романа воспитания и проблем гносеологии в мысли Гончарова и замысле конкретного романа — “Обыкновенная история”. Пик эволюции Александра — его “метаморфоза” — формулируется на языке психологии: “Замена одной самоидентификации — другой (метаморфозы — превращение)” [18, с. 148]. Потенциальное стремление героя к самоусовершенствованию

проигнорировано. Так как сам жанр романа воспитания возвышается в ранг способа самопознания, стоит процитировать ключевое определение Е.А. Краснощековой, данное в 1975 г. как раз по поводу “Обыкновенной истории”: «Роман, как жанр сугубо неканонический, гибкий по своей природе, отталкиваясь от устарелых форм, впитывает в себя как “инструмент” познания жизни» [37, с. 35].

Итак, у Гончарова роман воспитания, будучи сам по себе образцом пути познания, получает соответствующий сюжет, т.е. показывает путь человека к познанию, достигаемому через самоотречение, отказ от самолюбия. Вот почему “неожиданный” финал позволяет нам сказать, что Гончаров творит особую разновидность жанра романа воспитания. Е.А. Краснощекова истолковывает развитие юного Адуева как “путь самообретения (самопознания и самооценки)”, а “инфантилизм” — как характерную для него черту (в случае же Обломова речь идет о человеке, “выросшем, но не повзрослевшем”) [18, с. 134, 135].

Кроме магистральной суммировки темы в ракурсе индивидуальной психопатологии мотивы зеркальности и нарциссизма подробно расследуются в работе З. Фрейда “Тотем и табу” (1913), а также в работе “Введение в нарциссизм” (1914) (феномен зеркального эффекта обсуждается и в капитальной работе венгерского психоаналитика Г. Рохейма “Зеркальное волшебство”, 1919). В трактате “Тотем и табу”, в этой обширной попытке систематизировать психоаналитическое истолкование феномена религии, предшествующий религии анимизм обуславливается *зеркальным опытом* человека: ссылаясь на труды Вундта и Г. Спенсера, Фрейд фиксирует живую полемику вокруг роли примитивного “дуалистического мирозерцания”, “наблюдений за феноменом сна” и “других наблюдений и опыта <...> (напр., сновидения, *зеркальные отражения* и т.п.)” в создании основных анимистических учений” [38, с. 389–390; курсив мой. — Д.З.Й.]. Фрейд исходит из теории о разделении истории “развития человеческих мирозерцаний” на три фразы — анимистическую, религиозную и научную, они соответствуют развитию индивида от стадии аутоэротизма к стадии выбора объекта [38, с. 401]. Недостающее звено найдено: между этими двумя стадиями есть и промежуточная. Поскольку объект влечения не внешний, “а собственное, сформировавшееся к тому времени Я”, “принимая во внимание патологические фиксации такого состояния”, Фрейд называет данную стадию “нарциссизмом” [38, с. 402]. Такой психический

склад влечет за собой интерес к суевериям. В романе “Обыкновенная история” мотив оберегания сына от “проклятых” мух во время сна, о котором пишет Адуева Петру Иванычу, инструкция “перекрестить” и покрывать ему “рот платочком” [2, т. 1, с. 60] — формы предостерегающей магии, как снятие сглаза или порчи, они тоже относятся к кругу явлений анимистических верований.

По высказыванию самого Гончарова, “нежный бесхарактерно-добрый” Адуев-младший — человек “мелко самолюбивый” [2, т. 8, с. 109]. Этим текстуальным аргументом далеко не исчерпывается список типичнейших нарциссических признаков, характеризующих его. Бегство из Петербурга, фальшиво интерпретируемое как бунт против дяди, скорее надобно назвать “эскапизмом” [18, с. 158], ведь в надежде на возвращение в абсолютно безопасное место, в рай, идеальное состояние которого гарантировано родным домом, нарциссический юноша покидает локус, где ему многократно приходилось терпеть состояния “обыденного либидо”.

На устойчивые мотивы романа “Обломов”, несомненно соотносимые с историей Нарцисса и нимфы Эхо в “Метаморфозах” Овидия, впервые обратил внимание в своей работе М. Финке, который делает акцент на аналогии пар Обломов—Ольга и Нарцисс—Эхо [39, с. 264–288]. По сравнению с этой вершиной творчества писателя в “Обыкновенной истории” присутствие этого круга мотивов ощутимо гораздо сильнее.

В “Обыкновенной истории” из всего круга устойчивых мотивов истории Нарцисса и дискурса о нарциссизме в первую очередь обращают на себя внимание мотивы зеркал. Если сюжет античной мифологемы достигает кульминационного пункта на берегу ручья, где Нарцисс узревает собственное зеркальное отражение, то самым загадочным и эмблематичным локусом в романе Гончарова является озеро с желтыми цветами (точный вид цветов не определяется<sup>5</sup>), соответствующее мотиву природной воды, идентифицируемой с “зеркалом” в античной мифологеме. Цветы и образ озера лейтмотивно пронизывают ткань романа. Озеро выступает как образ, к которому многие из действующих лиц так или иначе привязаны. Логично, что в реальном действии романа фактически ни один из персонажей не гуляет по его берегу, в таком смысле оно как бы находится вне конкретной реальности, в сфере воспоминаний. В самой завязке произведения у читателя создается ощущение, что озеро вызывает

сильные чувства у Александра, это часть исключительно его допетербургской жизни. Этот образ всплывает в самом начале романа, чтобы потом как привидение “преследовать” Адуевых: “Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой — темно-синее как небо, которое отражалось в нем и едва подернутое зыбью” [2, т. 1, с. 39]. Восприятие озера как природного зеркала придает акцентированность самому образу и его семантической ауре. Перед тем, однако, как это становится общим семантическим референтом в разговорах племянника и дяди, через нарратора читатель узнает о значимости данного мотива. В то время как дядя с досадой и некоей стыдливостью вспоминает приключение юности, мотив озера трансформируется в символ отказа от романтических мечтательств, а голубой цветок Новалиса заменяется “на русский лад” желтым (комплементарность цветов общеизвестна). До встречи дяди и племянника в качестве подтверждения всплывает образ и в письме сестрицы к дяде во фразе, сжато повествующей о прогулке “около нашего озера”, когда Петр Иваныч “влез по колено в воду”, чтобы достать “большой желтый цветок” [2, т. 1, с. 58]. Разговаривая с племянником, нарциссический дядя проецирует обратной проекцией собственную историю на историю младшего, на роман Александра с Софьей, прикрепляя его к локусу озера [2, т. 1, с. 82]. Обратная проекция повторяется в конце 2-й части романа, но теперь она направлена на дядю в полном соответствии с законом симметрии: ученик осознает пороки наставника, юношеский роман с Софьей исчезает в реке забвения, процесс воспитания обнажается: “Театр ваших любовных походов перед моими глазами — это озеро” [2, т. 1, с. 318], — обращается он к дяде. Неустанно возвращаясь к этой точке ориентации, действующие лица демонстрируют, что мысленно живут на его берегу.

Более того, сам объект влечения, женщина, и ее жизнь должны стать зеркалом — так можно подытожить мысль Александра, сравнивающего жизнь Лизы с ручьем, который “не отразит ни целого неба в себе, ни туч” [2, т. 1, с. 266].

Мотив гадания, прорицания, которое сбылось в случае Нарцисса, — ведь сюжет античного мифа построен на отправном пункте гадания и финале, приносящем роковую метаморфозу, — тоже получает важную функцию в романе Гончарова. Гадание и метаморфоза у Овидия скреплены мощной силой сцепления: экспозиция мифологического

<sup>5</sup> Об этом подробнее см. в работе А. Молнар [40, с. 314–322].

сюжета представляется словами правдивого пророка о долголетию новорожденного Нарцисса, которому не надо “себя видеть”, тогда как развязка соответствует образу увидевшего собственное отражение Нарцисса. Подобно этому в романе Гончарова матерью главного персонажа дано предсказание при отъезде: “...молодая жена заменит тебе и мать и все” [2, т. 1, с. 45]. Полный надежд от любви к Тафаевой, строптивый герой как-то боится силы пророчеств дяди-всезнайки, в его грёзах ощущается инерция: “Неужели жизнь его никогда не примет особенного, неожиданно поворота и будет вечно идти по предсказаниям Петра Ивановича?” [2, т. 1, с. 223].

Нежная дружба как реквизит круга мотивов, берущих свое начало в романтическом мироощущении (достаточно здесь напомнить о легендарной клятве Герцена и Огарева), имеет потенциальные импликации и в истории о Нарциссе. В романе Гончарова она появляется в аналогичном слезливом эпизоде с Пospelовым [2, т. 1, с. 51].

Среди квинтэссенциальных словесных феноменов, воспроизводимых в романе Гончаровым, выделяется ключевой мотив повторов, точнее — “эхо-повторов”, эпифор, напоминающих полуудачные диалоги Нарцисса с Эхо (данная сцена передает недоумение, непонимание, отсутствие гармоничного обмена информацией, дефицит общения между полами: недаром Ю.В. Манн суммирует проблематику романа как “диалогический конфликт”), которые составляют смысловую архитектуру истории, записанной Овидием. Такая сцена разыгрывается, когда зеркальные фигуры дяди и племянника занимают переделыванием текста письма Александра к другу: племянник пишет под диктовку дяди, вроде древнегреческой нимфы повторяя последние два-три слова. Далее использование этого приема достигает вершины, когда ситуация диктанта переходит в абсолютизацию мотива повтора: во-первых, тем самым подчеркивается магистральная сюжетная роль повторяющих друг друга судеб дяди и племянника, во-вторых — уже как в конце урока проводится подытоживание усваиваемого материала, племянник снова перечитывает дописанный текст вслух [2, т. 1, с. 78–81]. Мотив эхо-повторов и неосуществимого диалога, сохраняя семантическое ядро “повтора”, переводится в образ прыгающего в клетке попугая, который является реквизитом воображаемого идеального мира, “благоухающего цветами”, где царствует “она”, т.е. Наденька. Этот мир, контрастирующий с повседневностью департамента, витает лишь в фантазии Александра [2, т. 1, с. 113].

В ходе размолвки с Лизой (ситуация отдаления мужчины и женщины друг от друга, как и в случае восставшего против закона любви Нарцисса) Александр задает спонтанный вопрос, почему Лиза настаивает на его ежедневном визите: “Зачем?” [2, т. 1, с. 269]. Отвечая вопросом на вопрос, та четырехкратно повторяет то же вопросительное местоимение, восприняв реакцию юноши как знак абсолютного безразличия. Если в западноевропейской и пушкинской традиции фигуры Нарцисса и Эхо синонимичны поэту и музе, то у Гончарова в воображении Александра Наденька выступает не как источник вдохновения, а наоборот, скорее — в качестве эха, повторяющего продукт поэта, ибо, вопреки тому, что он называет девушку “моей музой”, которая “переписывает на хорошенькой бумажке и выучит” его стихотворения, по сравнению с диктовкой в обратном направлении она буквально должна стать отзвуком, в том идеальном случае “он познал *высшее блаженство поэта — слышать свое произведение из милых уст*” [2, т. 1, с. 129; курсив Гончарова. — Д.З.Й.]. Эхо-повторы становятся кардинальными композиционными приемами: эпилог свидетельствует об интенции автора снабдить текст двух предыдущих частей таким повтором, когда младший берет на себя роль дяди: “Все лейтмотивные реплики и ситуации переадресованы, Александр повторяет слова Петра, от которых тот готов отказаться” [18, с. 170]. Соответственно существует такое же соотношение между экспозицией и последующей за ней частью: “Рассказанное в экспозиции отзывается эхом на протяжении всего романа” [4, с. 525].

Как умирающий Нарцисс, бивший руками в грудь и расшибавший себя насмерть, Александр в разочарованности всегда жалуется на “боль в груди”. В такие моменты он нередко рисуется на берегу реки (“берег был мелок”), где “по волнам тени”, т.е. отражения [2, т. 1, с. 141, 273]. Женские особы, к которым Александр питает нежные чувства, раньше или позже оказываются в роли древнегреческой нимфы. Испытывая отказ со стороны Александра, Тафаева зловещим голосом дает слово, что после разрыва будет преследовать мужчину (подобно Эхо, гонимой любовью к Нарциссу): “Буду вас всюду преследовать. Вы никуда не уйдете от меня, поедете в деревню — а я за вами...” [2, т. 1, с. 243].

Наряду с перечисленными выше мотивами, которые соотносимы с историей Нарцисса и Эхо, текст Гончарова изобилует мотивами зеркала и зеркальности. Автор бесспорно одержим ими. Мотивы зеркала, разветвляясь, составляют

некий самостоятельный слой мыслей словесной ткани, в котором сгущены важнейшие представления Гончарова о человеческой психике, о пути познания и механизмах процесса коммуникации, об обуславливающем данные процессы тесном вербальном пространстве индивида, о праздности переоценки культа индивида, о вопросе древнего представления миметического искусства и его остатках в сознании современного мира, о концепциях реализма, о конфликтующих реалиях мысли и языка.

Вопреки распределению ролей воспитателя и воспитанника, согласно которому дядя оказывается хладнокровным сторонником разума, а племянник – защитником инстинкта и чувства, при первой встрече прямо тематизируется мысль о зеркальном соответствии. При знакомстве с племянником Петр Иванович сознательно прибегает к акцентировке принципа зеркальности, шаблонная фраза дает толчок к развертыванию идей их дальнейших диалогов: “...ты живой портрет покойного брата: я бы узнал тебя на улице” [2, т. 1, с. 62]. Данные слова в глубине носят семантику о потенциальном оживлении какой-то картины. Мысль о схожести моментально превращается в однородное действие: дядя начинает бриться, т.е. буквально разговаривает с двойником своего брата в то время, как смотрит на себя в зеркале. Такой же комплекс ассоциаций и идей нападает на Александра несколько страниц спустя. В его раздумьях Петербург предстает как ландшафт монотонных домов (“колоссальных гробниц”), труб, крыш и поражает своим грустным однообразием, проявляющимся в картине “*окон*”: “одинокие дома, четыремя рядами окон”, “все одно да одно” [2, т. 1, с. 65–66], здания кажутся точными зеркальными отражениями друг друга.

Евсей, верный слуга, по традиционному изображению в повествовательном жанре, закономерно служит зеркалом, ведь он, как барометр, тонко отражает изменения, настроения юного барина. Если собеседование с собой в акте письма предоставляет Александру момент узрения себя в зеркале, то как бы эквивалентно этому Евсей, вычистивший сапоги барина, “в зеркальный лоск кожи” “гляделся с любовью” [2, т. 1, с. 129]. Нарастающее количество таких зеркальных соответствий составляет комплекс мотивов романа. Этот мотив снова возвращается после конца скучных отношений с Тафаевой (в финале главы III). Становясь способом ресемантизации мотива зеркала как символа уравновешенного, беспристрастного созерцания и оценивания действительности,

чистка обуви здесь уже соответствует приобретению очищенного сознания: хваля ваксу, Евсей возвращается к теме полировки сапог: “вычистишь, словно зеркало, а всего четвертак стоит” [2, т. 1, с. 247], а расшатавшийся под влиянием разрыва с женщиной герой чуть ли не в истерике упрекает слугу в том, что он его измучил. Так Александр попадает в роль ходячего зеркала, ведь он отражает комплекс чувств и мыслей, оставленных в нем неудачей отношений с Наденькой.

Зеркало, как известно, обозначает надличностную, объективную самооценку, критическое отношение к себе, способность к реальной оценке своих поступков. Для свершения такого интеллектуального подвига, преодоления субъективных границ нужен “протез”, который способствует раскрытию того, что индивид пока не видит: вместо грандиозных творений литературы достаточно обратиться к миниатюрным басням Крылова. Но название басни Александр запомнил неправильно: “Мартышка и зеркало” вместо “Обезьяна и зеркало”. Он путает название басни, но идентифицирует цитату, которую привел дядя, называя Крылова “любимым” автором Александра [2, т. 1, с. 195]. Легко догадаться: в памяти Александра сохранилось лишь ключевое слово “зеркало”.

Ряд проявлений непонимания (эквивалента разговора Нарцисса и Эхо) можно отнести за счет сосредоточенности индивида на себе. В фокусе – пределы индивидуальной перцепции. Несмотря на то что эгоцентризм и эгоизм вовсе не считаются синонимами, в случае Александра эгоизм (по слову Гончарова – “самолюбие”) – результат кризисного возраста. Упреки в “бесчувственности” и “эгоизме” прямо связаны с поступками, присущими такому возрасту: “Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решил на разлуку? Ему было двадцать лет” [2, т. 1, с. 40]. Эгоизм его связан с мотивом разлуки или, наоборот, с желанием не оторваться от предмета любви. В духе античной мифологемы эгоизм мыслится как сепарация. Вот как объясняется – если учесть факт, что первичный нарциссизм появляется в младенческом возрасте из-за отдаления от матери – наставление Петра Ивановича о том, что “настаивать” против воли женщины, когда она уже выбрала другого (графа), – “это эгоизм” [2, т. 1, с. 163].

Для лечения разочарованного племянника дядя применяет зеркальный метод, прототип нынешней “зеркальной терапии”, изобретая некое противоядие, называемое им “благородной интригой”: согласно его проекту, Александр должен

“влюбить в себя Тафаеву” [2, т. 1, с. 211]. В результате нейтрализуется боль, причиняемая памятью о несчастном любовном треугольнике с графом. Зеркало приобретает роль магического способа, оно движет уже сюжетом, сочиняемым в частности дядей. Петр Иванович всерьез берет в руки управление судьбой племянника. “Вывернутый сюжет” запроектированной Петром Ивановичем схемы предназначен повторять историю с Наденькой, только роль покорителя в этот раз дается Александру, вынужденному отбить женщину у Суркова. Ситуация оказывается выгодна всем — кроме Суркова. Александр попадает в роль, представляющую собой зеркальный образ роли своего бывшего соперника. Этот проект появляется после разговора троих — дяди, племянника и жены дяди. Во время разговора выясняется, что содержание басни Крылова составляет референт их общего языка. Так, дядя метафорично выступает в роли психотерапевта, практикующего гомеопатическую медицину (лечить подобное подобным). Лечение применяется ради разрушения старого я. Важно, что дядя уже заранее знает — через женщину гарантирован шанс на самопознание<sup>6</sup>. Как заметила Е.А. Краснощекова, в лице Тафаевой Александр наталкивается на собственного «женского “двойника”» [2, т. 1, с. 154].

Ключевые мотивы — *эгоизм, эгоцентризм, “диалог”, направленный на себя*, — провозглашают принцип единственности и исключительности, но амбивалентность, в общем характерная для нарцисса, усиливает эффект дуализма, ощущаемого как в русской ментальности (см.: [42]), так и в поэтике романтизма. На уровне словесного оформления романа этот феномен уловим в двухчленной структуре, разделяющей роман на две части, и в специально выбранном идейном и возрастном конфликте двух собеседников — дяди и племянника, в подчеркнутой семантике числа 2: ввиду этого не случайно в главе 2-й Александр встречается с дядей, который был отправлен в Петербург 20 лет тому назад. Глава 4-я (дважды два — четыре) первой части начинается с описания спешащего на randevу Александра: он застревает на одном острове, а на другом берегу его с нетерпением ждет возлюбленная, в качестве исхода ситуации он с амбивалентным равнодушием выбирает обедать в ресторане. Несколько строчками выше сама вводная фраза главы в выкристаллизованной форме передает идею раздвоенности как определение духовного и душевного

<sup>6</sup> В.А. Котельников отмечает, что женские фигуры и концепт любви у Гончарова имплицитно вовлекают “иных измерений” [41, с. 160–177].

состояния персонажа: “Жизнь Александра разделилась на две половины” [2, т. 1, с. 112]. Здесь подразумевается и пародия на штампованный романтизмом антагонизм между служением и личной жизнью. Число 2, определяющее местопребывание персонажа, повторяется в образе *двух* гребцов, готовых к переправе и ожидающих Александра на набережной. В споре с дядей он дебатировал про разницу между *двумя* категориями — любви и дружбы, и, между прочим, опять-таки актуализируется значимость числа 2: “из бумажника” он достает “две осьмушки исписанной бумаги”, содержащей его произведение, в котором выдвигается сентенция о том, что дружба “боится двусмысленного слова” [2, т. 1, с. 186–187]. В другом фрагменте, который Александр читает вслух дяде и его жене и который представляет собой стилизацию беллетризованного философского трактата о любви, отражаются комментарии Гончарова, тщательно обдуманый замысел по-философски подойти к пониманию сущности гармонии содержания и формы. Философичные строчки сочинения героя свидетельствуют о том, что изучение Гончаровым философии привело к возвышению ее в ранг композиционного принципа. Любовь в самом невинном, идеальном ее проявлении создает особый мир наподобие литературного произведения, которое меняет зрение, развивает зоркость, отражает идеальный мир. Этот мир являет собой “великолепие великолепий”, “блеск блесков”: “В этом мире небо кажется чище, природа роскошнее”, — пишет Александр, сохраняя свои пессимистические настроения, которые маркируют мироощущение, базируемое на *двух* полюсах: в “идеальном мире” любви — “разделять жизнь на два разделения — присутствие и отсутствие, на два времени года — весну и зиму” [2, т. 1, с. 188].

Глава 3-я (во 2-й описывалась встреча племянника и дяди) начинается с фиксирования промежутка времени, которое протекло: *два* года [2, т. 1, с. 92].

Онтология любви заключается в обретении знаний, любовь без знаний невообразима и немислима, прикрепленность друг к другу двух этих понятий явно восходит в равной степени к христианской интерпретации грехопадения и его последствий, но в то же время лежит в основе мифологемы о Нарциссе: запретный поступок влечет за собой наказание, т.е. через познание себя Нарцисс познает любовь, но самопознание синонимично саморазрушению, смерти. Вот почему на самом деле нелюбовь, предопределяющая сущность характера древнегреческого юноши,

в его судьбе мыслится как принцип жизни. Суть любви как связанной со знанием заново предстает как мотив, доминантно присутствующий в идейном содержании мифологемы о Нарциссе, она конкретизируется в мысли дяди: “Племянника своего он не знает, следовательно и не любит” [2, т. 1, с. 61]. Без возраста и знания, — объясняет дядя своей жене, — любовь теряет смысл: “Он еще ребенок и не знает ни себя, ни других, а тебе было бы стыдно! Неужели ты могла бы уважать мужчину, если б он полюбил так?.. Так ли любят?..” [2, т. 1, с. 189]. Разумное поведение и интеллектуальные способности индивида определяют самопознание, а его показывает зеркало: все это попадает в контекст описания интеллектуального созревания — результата “беспощадного анализа”. Идеализирующий Наденьку Александр в восторге “перемял прическу и закапал письмо”, у него появляются симптомы регрессии, а дядя в гневе указывает на путь самопознания: “Давно ты не был таким. Посмотри, посмотри, ради бога, на себя в зеркало: но может ли быть глупее физиономия?” [2, т. 1, с. 98]. Амбивалентность в выборе объекта Александра выражается и в его желании быть обнятым дядей, который ему отказывает в этом [2, т. 1, с. 77]. Сильное возбуждение порою вспыхивает в форме деструкции: разбивающий от волнения “бюстик из итальянского алебаstra” [2, т. 1, с. 99] Александр на самом деле демонстрирует обоюдоостроту страстных чувств, включая деструктивизм, нередко управляющий нарциссом.

“Лишний” ли человек Адуев-младший? В романе это слово применительно к нему прозвучит только один раз. Хваля своего племянника компаньону, Петр Иваныч пользуется эпитетом “лишний”: “Александр не ходит ко мне без зову; и когда он заметит, что он лишний, тотчас уйдет” [2, т. 1, с. 73].

Весьма иронично причина мировой скорби соотнесена с личным переживанием, т.е. разочарованием в Наденьке, вследствие чего через мотив ревности Александр идентифицируется с чувством, увековеченным в “Полководце” Пушкина, грандиозный стиль которого в чужом контексте наполняется второстепенным содержанием повседневности. Пушкинская цитата — “О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха” — звучит как пародия из уст надутого юноши, который с высшей позиции гения осуждает людей, а точнее — обманувшую его надежды молодую даму. В конце концов, на манер “лишнего человека”, неисправимого дуэлянта, Александр просит дядю стать его секундантом. Наподобие

“лишних людей” Александр страдает “меланхолией”, т.е. “хандрит” [2, т. 1, с. 255]. А после размолвки с Тафаевой его сплин стабилизируется: по-печорински он признается, что для него любовь — скука. На вопрос Юлии он, удивляя самого себя, находит ключевое слово: “Скучно! <...> Слово найдено! Да, это мучительная и убийственная скука” [2, т. 1, с. 239]. Теоретизируя над сходствами между литературными воплощениями и перевоплощениями “лишнего человека”, сам Гончаров ставит Чацкого “выше” Онегина и Печорина. Крайности оппозиции “пассивность *versus* деятельная натура” тут функционируют как водораздел, если угодно — “тоскующая лень” [2, т. 8, с. 24–25], она близка к этому симптому психического расстройства, меланхолии. Самолюбие, которое заменяет гармонию отношений двух любящих, мелькает в размышлениях Петра Иваныча. Дядя, весьма критически относящийся к незрелому поведению племянника, в разговоре с женой вполне спонтанно и самокритично констатирует и оценивает собственный нарциссизм: “признаюсь, очень люблю себя” [2, т. 1, с. 285]<sup>7</sup>.

Мотивика античной мифологемы о Нарциссе (зеркальность, озеро, цветы, самопознание, неудачные отношения с женщинами, диалог и дуализм) переплетается с изображениями широкого спектра симптомов, характеризующих личность нарцисса (саморефлексия, неспособность к диалогу, бегство, эскапада, проблема грандиозного я, амбивалентность, склонность к деструктивному поведению). Данным комплексом мотивов определяется характер Александра, соприкасающийся с типом “лишнего человека”. Путь Александра завершается отчаянным осознанием своих фиаско. Деспотизм, который он выучил в школе дяди, бесплоден, что верифицируется многоговорящим выводом: “к другой любви он не был способен” [10, с. 68]. Иными словами, нарциссический герой не в силах направлять свое либидо на объект.

Феномен самолюбия имеет свой вес в мире Гончарова, который склонен был к самоанализу

<sup>7</sup> Из-за параллелизма между жизненными путями Адуевых мы должны указать, что кризисный юный возраст, прикрепленный к нормальному появлению этапа в позднем отрочестве, который, собственно, является нарциссизмом, вовсе не ограничивает круг данного психического явления чрезмерного самолюбия. На это Фрейд формулирует свой взгляд еще до открытия им явления вторичного нарциссизма: согласно его теории, нарциссизм — не преходящее состояние души, ликвидировать постэффекты невозможно из-за остатков болезни: “Нарциссическая организация уже никогда не исчезает полностью. В известной степени нарциссизм остается в человеке даже после того, как тот находит внешний объект для своего либидо” [38, с. 402].

и стремился к беспристрастию, не говоря о его критическом отношении к собственному душевному устройству. Он посему и отклоняет “пристрастие” и “самообольщение” [2, т. 8, с. 105]. Посему не будет преувеличением предположить, что отчасти автобиографичностью мотивируется конструирование фигуры центрального персонажа, Адуева-младшего, воюющего с самим собою, с демоном собственного самолюбия. Подчеркнем, я Александра проецируется на характер дяди. В этом отношении справедливо рассматривать проблему в зеркале поэтики романтизма, переплетавшейся с автобиографизмом: “Тот процесс духовного перерождения романтика, который находится в центре внимания Гончарова, представлял собою в первую очередь факт его личного развития” [10, с. 56]. Но писатель скептически высказывался о стремлениях критиков, которые “стараятся” его “самого подводить под того или другого героя” [2, т. 8, с. 105].

Осколки собственного “учения” о зеркалах Гончаров излагает в эссе “Лучше поздно, чем никогда”. Любопытно, что семантическая аура зеркаломании здесь не ограничивается проповедью эстетических норм, установленных в системе поэтики реализма, который словно возвращается к императиву античного принципа “мимесиса”. На литературных персонажах, — говорит Гончаров, — “отразятся, как в зеркале, и явления общественной жизни”. Постулируется зеркалообразность бытия, человек сам по себе есть зеркало: “Я сам и среда, в которой я родился и воспитывался, жил — все это, помимо моего сознания, само собой отразилось силою рефлексии у меня в воображении, как отражается в зеркале пейзаж из окна” [2, т. 8, с. 107]. Сознание мыслится как зеркало. Помимо своей воли человек становится зеркалом и, прибавим, не осознавая, что он отражает и незнакомые ему явления. Гончаров доходит до того, что прямо переделывает провинциальное “озеро” в зеркальную гладь воды, магический локус, где земное и небесное могут соединиться: “Как отражается иногда в небольшом пруде громадная обстановка: и опрокинутое над прудом небо, с узором облаков, и деревья <...> и суета, и неподвижность — все в миниатюрных подобию” [2, т. 8, с. 107]. Через небо зеркало будто интегрирует Вселенную.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Molnár A.* Goncsarov hármaskönyve. Ivan Goncsarov regényei a XIX. századi irodalomban. Budapest: Argumentum, 2012. 340 с. (на венг. яз.)

2. *Гончаров И.А.* Собр. сочинений: В 8 т. М.: Худож. лит., 1977–1980.
3. *Недзвецкий В.А.* Конфликт И.С. Тургенева и И.А. Гончарова как историко-литературная проблема // *Slavica*. 1986. Т. XXIII. С. 315–332.
4. *Пруцков Н.И.* Романы Гончарова // *История русского романа: В 2 т. Т. 1.* М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 514–582.
5. *Отрадин М.В.* Роман И.А. Гончарова “Обыкновенная история” // *Русская литература*. 1993. № 4. С. 35–65.
6. *Манн Ю.В.* Философия и поэтика “натуральной школы” // *Проблемы типологии русского реализма*. М.: Наука, 1969. С. 241–305.
7. *Дружинин А.В.* “Обломов”. Роман И.А. Гончарова // *Дружинин А.В. Прекрасное и вечное*. М.: Современник, 1988. С. 441–461.
8. *Буданова Н.Ф.* Исповедь Гончарова // *Литературное наследство*. Т. 102: И.А. Гончаров. Новые материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2000. С. 184–326.
9. *Белинский В.Г.* Полн. собр. сочинений: [В 13 т.]. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959.
10. *Цейтлин А.Г.* И.А. Гончаров. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 488 с.
11. *Лаврецкий А.* “Лишние люди” // *Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 6.* М.: ОГИЗ РСФСР, 1932. С. 514–540.
12. *Иванов-Разумник.* История русской общественной мысли: В 2 т. Т. 1. СПб.: Тип. Стасюлевича, 1911. 440 с.
13. *Федосеенко Н.Г.* Лишний человек или скиталец? (к вопросу о терминологии) // URL: [http://www.rusnauka.com/28\\_PRNT\\_2011/Philologia/8\\_94830.doc.htm](http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Philologia/8_94830.doc.htm)
14. *Копривица М.* Персонажи “лишних людей” в истории русской литературы (в свете социально-исторических обстоятельств России XVIII–XXI вв.) // *Зборник радова Филозовског факултета у Приштини*. Т. LI. Приштина, 2021. С. 193–209.
15. *Chances E.* Conformity’s children. An approach to the superfluous men in Russian literature. Ohio: Slavica Publishers, 1978. 210 p.
16. *Clardy J.B., Clardy B.C.* The Superfluous Man in Russian Letters. Washington DC: University Press of America, 1980. 179 с.
17. *Чавдарова Д.* Homo legens в русской литературе XIX века. Шумен: Аксиос, 1997. 141 с.
18. *Краснощекова Е.А.* Роман воспитания — Bildungroman — на русской почве. СПб.: Изд-во “Пушкинского фонда”, 2008. 478 с.
19. *Bourmeyster A.* Поэтика Гончарова: бесстрастие или насмешливость? // *Ivan Gončarov. Leben*,

- Werk und Wirkung. Beiträge der I. Internationalen Gončarov-Konferenz. 8.–10. Oktober 1991, Bamberg. Köln; Weimar; Wien: Bohlau Verlag, 1994. S. 15–24.
20. Краснощекова Е.А. Гончаров и Герцен // И.А. Гончаров: Материалы международной конференции, посвященной 185-летию со дня рождения И.А. Гончарова. Ульяновск, 1998. С. 134–143.
  21. Глухов В.Н. О литературных истоках “Обыкновенной истории” // И.А. Гончаров: Материалы международной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения И.А. Гончарова. Ульяновск: Стрелец, 1994. С. 45–54.
  22. Бочаров С.Г. Генетическая память литературы. М.: РГГУ, 2012. 348 с.
  23. Бахтин М.М. Собр. сочинений: В 7 т. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. 955 с.
  24. Лотман Л.М. И.А. Гончаров // История русской литературы: В 4 т. Т. 3. Л.: Наука, 1982. С. 160–202.
  25. Айхенвальд Ю. Гончаров // Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей: В 2 т. М.: Терра—Книжный клуб; Республика, 1998. Т. 1. С. 205–214.
  26. Буланов А.М. “Ум” и “сердце” в русской классике. Соотношение рационального и эмоционального в творчестве А.И. Гончарова, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1992. 86 с.
  27. Молнар А. Поэтика романов И.А. Гончарова. М.: Компания Спутник+, 2004. 158 с.
  28. Недзвецкий В.А. И.А. Гончаров – романист и художник. М.: Изд-во МГУ, 1992. 175 с.
  29. Прокопенко З.Т. М.Е. Салтыков-Щедрин и И.А. Гончаров в литературном процессе XIX века. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1989. 222 с.
  30. Ляцкий Е. Гончаров. Жизнь, личность, творчество. Критико-биографические очерки. Стокгольм: Северные огни, 1920. 377 с.
  31. Мережковский Д.С. Гончаров // Мережковский Д.С. Вечные спутники. М.: Т8РУГРАМ, 2018. С. 306–334.
  32. Baratoff N. Oblomov. A Jungian Approach // Ivan Gončarov. Leben, Werk und Wirkung. Beiträge der I. Internationalen Gončarov-Konferenz. 8.–10. Oktober 1991, Bamberg. Köln, Weimar, Wien: Bohlau Verlag, 1994. С. 191–200.
  33. Кантор В.Л. Русский европеец как явление культуры: (Философско-исторический анализ). М.: РОССПЭН, 2001. 701 с.
  34. Кохут Х. Анализ самости. Системный подход к лечению нарциссических нарушений личности. М.: Когито-Центр, 2003. 308 с.
  35. Grubner B. Narcissism in Cultural Theory. Perspectives on Christopher Lasch, Richard Sennet and Robert Faller // *Frontiers of Narrative Studies*. 2017. № 3. P. 50–70.
  36. Jacoby M. Individuation and Narcissism. The Psychology of the Self in Jung and Kohut. London; New York: Routledge, 2006. 267 p.
  37. Краснощекова Е.А. И.А. Гончаров и русский романтизм 20–30-х годов // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1975. Т. 34. № 4. С. 304–316.
  38. Фрейд З. Тотем и табу // Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. М.; Минск: АСТ—Харвест, 2006. С. 309–476.
  39. Finke M. “Just Like an Ancient”. Narcissus and Echo in Goncharov’s *Oblomov* // *Text Within Text. Culture Within Culture = Текст в тексте. Культура в культуре*. Budapest; Tartu, 2014. С. 266–288.
  40. Молнар А. Мотивы цветочного сада в романах Гончарова и Бальзака // *Восток и Запад: Пространство природы и пространство культуры в русской литературе и культуре*. Волгоград: Парадигма, 2011. С. 314–322.
  41. Котельников В.А. “Вечно женское” как жизненная и творческая тема Гончарова // Гончаров: живая перспектива прозы. Научные статьи о творчестве И.А. Гончарова. Szombathely: University of West Hungary Press, 2013. С. 160–177.
  42. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // *Труды по русской и славянской филологии*. Т. XXVIII: Литературоведение. К 50-летию проф. Б.Ф. Егорова. Тарту, 1977. С. 3–36.

## REFERENCES

1. Molnár, A. *Goncsarov hármaskönyve. Ivan Goncsarov regényei a XIX. századi irodalomban* [Goncharov’s Trilogy. Ivan Goncharov’s Novels in 19<sup>th</sup> Century Literature]. Budapest, Argumentum Publ., 2012. 340 p. (In Hungarian)
2. Goncharov, I.A. *Sobraniye sochinenij v 8 t.* [Collected Works in 8 Vols.]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1977–1980. (In Russ.)
3. Nedzvetsky, V.A. *Konflikt I.S. Turgenyeva i I.A. Goncharova kak istoriko-literaturnaya problema* [The Conflict between I.S. Turgenyev and I.A. Goncharov as a Problem of the History of Literature]. *Slavica*, 1986 (XXIII), pp. 315–332. (In Russ.)
4. Prutskov, N.I. *Romany Goncharova* [Goncharov’s Novels]. *Istoriya russkogo romana v 2 t.* [The History of the Russian Novel in 2 Vols.]. Moscow, Leningrad, 1962, pp. 514–582. (In Russ.)
5. Otradin, M.V. *Roman I.A. Goncharova “Obyknovennaya istoriya”* [I.A. Goncharov’s Novel “An Ordinary Story”]. *Russkaya literatura* [Russian Literature]. 1993, No. 4, pp. 35–65. (In Russ.)

6. Mann, Ju.V. *Filosofiya i poetika “natural’noj shkoly”* [The Philosophy and Poetics of the “Natural School”]. *Problemy tipologii russkogo realizma* [Russian Realism. The Problems of Tipology]. Moscow, Nauka Publ., 1969, pp. 241–305. (In Russ.)
7. Druzhinin, A.V. “*Oblomov*”. *Roman I.A. Goncharova*. [“Oblomov”. I.A. Goncharov’s Novel]. Druzhinin, A.V. *Prekrasnoye i vechnoye* [Beautiful and Eternal]. Moscow, Sovremennik Publ., 1988, pp. 441–461. (In Russ.)
8. Budanova, N.F. *Ispoved’ Goncharova*. [Goncharov’s Confession]. *Literaturnoye nasledstvo, T. 102: I.A. Goncharov. Novye materialy i issledovaniya* [Literary Heritage, Vol. 102: I.A. Goncharov. New Materials and Research]. Moscow, 2000, pp. 184–326. (In Russ.)
9. Belinsky, V.G. *Polnoe sobranie sochinenij v 13 t.* [Complete Works in 13 Vols.]. Moscow, 1953–1959. (In Russ.)
10. Tseytlin, A.G. *I.A. Goncharov*. Moscow, 1950. 488 p. (In Russ.)
11. Lavrestky, A. “*Lishnie ljud’i*” [“Superfluous Men”]. *Literaturnaya entsiklopediya v 11 t.* [Dictionary of Literature in 11 Vols.]. Vol. 6. Moscow, 1932, pp. 514–540. (In Russ.)
12. Ivanov-Razumnik. *Istoriya russkoy obshchestvennoy mysli v 2 t.* [The History of Russian Social Thought in 2 Vols.]. T. 1. St. Petersburg, 1911. 440 p. (In Russ.)
13. Fedoseyenko, N.G. *Lishnij chelovek ili skitalets? (k voprosu o terminologii)* [Superfluous Man or Wanderer? On the Question of Terminology]. URL: [http://www.rusnauka.com/28\\_PRNT\\_2011/Philologia/8\\_94830.doc.htm](http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Philologia/8_94830.doc.htm) (In Russ.)
14. Koprivitsa, M. *Personazhi “lishnih ljudej” v istorii russkoj literatury (v svete sotsialno-istoricheskikh obstojatelstv Rossiya XVIII–XXI vv.)* [Personae of the “Superfluous Men” in the History of Russian Literature (in the Light of Socio-Historical Circumstances of 18<sup>th</sup>–21<sup>st</sup> Century Russia)]. *Zbornik radova filozovskog fakulteta u Prishtiny*, 2021, Vol. LI, pp. 139–209. (In Russ.)
15. Chances, E. *Conformity’s children. An approach to the superfluous men in Russian literature*. Ohio, Slavica Publishers, 1978. 210 p.
16. Clardy, J.B., Clardy, B.C. *The Superfluous Man in Russian Letters*. Washington, University Press of America, 1980. 179 p.
17. Chavdarova, D. *Homo legens v russkoj literature XIX veka* [Homo Legens in Russian Literature]. Shumen, Aksios Publ., 1997. 141 p. (In Russ.)
18. Krasnoshchekova, E.A. *Roman vospitaniya – Bildungsroman – na russkoj pochve*. [Education Novel – Bildungsroman – on Russian Soil]. St. Petersburg, 2008. 478 p. (In Russ.)
19. Bourmeyster, A. *Poetika Goncharova: besstrastiye ili nasmeshlivost’?* [Goncharov’s Poetics: Dispassion or Mockery]. *Ivan Gončarov. Leben, Werk und Wirkung. Beiträge der I. Internationalen Gončarov-Konferenz. 8.–10. Oktober 1991*, Bamberg. Köln, Weimar, Wien, Bohlau Verlag, 1994, pp. 15–24. (In Russ.)
20. Krasnoshchekova, E.A. *Goncharov i Gercen* [Goncharov and Herzen]. *I.A. Goncharov: Materialy mezhdunarodnoj konferentsii, poshchvshennoj 185-letiyu so dnja rozhdeniya...* [I. A. Goncharov. Proceedings of the Conference Dedicated to 185<sup>th</sup> Anniversary of I.A. Goncharov’s Birth]. Ulyanovsk, 1999, pp. 134–143. (In Russ.)
21. Gluhov, V.N. *O literaturnykh istokakh “Obykvennoj istorii”* [On the Literary Sources of “An Ordinary Story”]. *I.A. Goncharov: Materialy mezhdunarodnoj konferentsii, posvyaschchennoj 180-letiyu so dnja rozhdeniya...* [I.A. Goncharov. Proceedings of the International Conference Dedicated to the 180<sup>th</sup> Anniversary of I. A. Goncharov’s Birth]. Ulyanovsk, 1994, pp. 45–54. (In Russ.)
22. Bocharov, S.G. *Geneticheskaya pamyat’ literatury* [The Genetic Memory of Literature]. Moscow, 2012. 348 p. (In Russ.)
23. Bakhtin, M.M. *Sobranie sochinenij v 7 t. T. 1. Filozofskaya estetika 1920-kh godov* [Collected Works in 7 Vols. Vol. 1: Philosophical Aesthetics of the 1920s]. Moscow, 2003. 955 p. (In Russ.)
24. Lotman, Yu.M. *I.A. Goncharov. Istoriya russkoj literatury v 4 t. T. 3* [The History of Russian Literature in 4 vols. Vol. 3]. Leningrad, Nauka Publ., 1982, pp. 160–202. (In Russ.)
25. Aikhenvald, Ju. *Goncharov. Aikhenvald, Ju. Siluety russkikh pisatelej* [Silhouettes of Russian Writers]. Moscow, 1998, Vol. 1, pp. 205–214. (In Russ.)
26. Bulanov, A.M. “*Um*” i “*serdtse*” v russkoj klassike. *Sootnosheniye ratsionalnogo i emotsionalnogo v tvorchestve I.A. Goncharova, F.M. Dostoevskogo i L.N. Tolstogo* [“Mind” and “Heart” in Russian Classics. The Relationship between Rational and Emotional in the Oeuvre of I.A. Goncharov, F.M. Dostoevsky and L.N. Tolstoy]. Saratov, 1992. 86 p. (In Russ.)
27. Molnar, A. *Poetika romanov I.A. Goncharova* [The Poetics of I.A. Goncharov’s Novels]. Moscow, 2004. 158 p. (In Russ.)
28. Nedsvetsky, V.A. *I.A. Goncharov – romanist is khudozhnik*. [I.A. Goncharov – Novelist and Artist]. Moscow, 1992. 175 p. (In Russ.)
29. Prokopenko, Z.T. *M.E. Saltykov-Shchedrin i I.A. Goncharov v literaturnom protsesse XIX veka* [M.E. Saltykov-Shchedrin and I.A. Goncharov in the Literary Process of the 19<sup>th</sup> Century]. Voronezh, 1989. 222 p. (In Russ.)
30. Lyatsky, E. *Goncharov. Zhizn’, lichnost’, tvorchestvo* [Goncharov. Life, Personality, Oeuvre]. Stockholm, 1920. 377 p. (In Russ.)

31. Merezhkovsky, D.S. *Goncharov*. In: *Merezhkovsky, D.S. Vechnye sputniki* [The Eternal Companions]. Moscow, 2018, pp. 306–334. (In Russ.)
32. Baratoff, N. Oblomov. A Jungian Approach. *Ivan Gončarov. Leben, Werk und Wirkung. Beiträge der I. Internationalen Gončarov-Konferenz. 8.–10. Oktober 1991*, Bamberg. Köln, Weimar, Wien, Bohlau Verlag, 1994, pp. 191–200.
33. Kantor, V.L. *Russkij evropeyets kak yavlenie kultury (Filosofsko-istoricheskij analiz)* [The Russian European as a Phenomen of Culture (Philosophical-Historical Analysis)]. Moscow, 2001. 701 p. (In Russ.)
34. Kokhut, H. *Analiz samosti. Sistemnyj podhod k lecheniyu nartsissicheskikh narushenij lichnosti*. [A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders]. Moscow, 2003. 308 p. (In Russ.)
35. Grubner, B. *Narcissism in Cultural Theory. Perspectives on Christopher Lasch, Richard Sennet and Robert Faller*. In: *Frontiers of Narrative Studies*, 2017, No. 3, pp. 50–70.
36. Jacoby, M. *Individuation and Narcissism. The Psychology of the Self in Jung and Kohut*. London, New York, 2006. 267 p.
37. Krasnoshchekova, E.A. *I.A. Goncharov i russkij romantizm 20–30-h godov* [I.A. Goncharov and Russian Romanticism in the 20's–30's]. *Izvestiya AN SSSR. Seriya litteratury i yazyka* [Bulletin of the Academy of Sciences of USSR. Series of Literature and Language]. 1975, Vol. 34, No. 4, pp. 304–316. (In Russ.)
38. Freud, S. *Totem i tabu* [Totem and Taboo]. *Freud, S. Ostroumiye i ego otnoshenie k bessoznatelnomu* [Jokes and their Relation to the Unconscious]. Moscow, Minsk, 2006, pp. 309–476. (In Russ.)
39. Finke, M. *Just Like an Ancient. Narcissus and Echo in Goncharov's Oblomov*. *Text Within Text. Culture Within Culture [Текст в тексте. Культура в культуре]*. Budapest, Tartu, 2014, pp. 266–288.
40. Molnar, A. *Motivy tsvetochnogo sada v romanah Goncharova i Balzaka* [The Motifs of Flower Gardens in the novels of Goncharov and Balzac]. *Vostok i Zapad. Prostranstvo prirody i prostranstvo kultury v russkoj literature i kulture* [East and West. Spase in Nature and Space in Culture in Russian Literature and Culture]. Volgograd, 2011, pp. 314–322. (In Russ.)
41. Kotelnikov, V.A. *“Vechno-zhenskoye” kak zhiznennaya i tvorcheskaya tema Goncharova* [“The Eternal Feminine” as a Goncharovian Theme of Life and Creation]. *Goncharov. Zhivaya perspektiva prozy. Nauchnye statyi o tvorchestve I.A. Goncharova* [A Live Prospect of Prose. Scientific Articles on the Oueuvre of I.A. Goncharov]. Szombathely, University of West Hungary Press, 2013, pp. 160–177. (In Russ.)
42. Lotman, Ju.M., Uspensky B.A. *Rol' dualnykh modeley v dinamike russkoj kultury (do kontsa XVIII veka)* [The Role of Dual Models in the Dynamics of Russian Culture Until the End of the 18<sup>th</sup> Century]. *Trudy po russkoj i slavyanskoj filologii. T. XXVIII: Literaturovedeniye. K 50-letiju prof. B.F. Yegorova* [Papers on Russian and Slavonic Philology. Vol. XVIII: Literary Science. To the 50<sup>th</sup> Birthday of Prof. B.F. Egorov]. Tartu, 1977, pp. 3–36. (In Russ.)

*Дата поступления материала в редакцию: 16 ноября 2021 г.*

*Статья поступила после рецензирования и доработки: 13 февраля 2022 г.*

*Статья принята к публикации: 22 февраля 2022 г.*

*Дата публикации: 30 апреля 2022 г.*

*Received by Editor on November 16, 2021*

*Revised on February 13, 2022*

*Accepted on February 22, 2022*

*Date of publication: April 30, 2022*